

Проблематика мест памяти

Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. -

СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999, с. 17-50.

I. Конец истории-памяти

Ускорение истории. Нужно суметь в полной мере ощутить масштаб того, что стоит за этими словами помимо метафоры (все убыстряющееся соскальзывание в абсолютно мертвое прошлое, неизбежность восприятия любой данности как исчезнувшей) — нарушение равновесия. Вырвано с корнем все то, что еще сохранялось из пережитого в тепле традиций, в мутациях обычаев, в повторениях пришедшего от предков, под влиянием глубинного исторического чувства. Доступ к осознанию себя под знаком того, что завершилось навсегда, окончание чего-то изначального. О памяти столько говорят только потому, что ее больше нет.

Интерес к местам памяти, где память кристаллизуется и находит свое убежище, связан именно с таким особым моментом нашей истории. Это поворотный пункт, когда осознание разрыва с прошлым сливается с ощущением разорванной памяти, но в этом разрыве сохраняется еще Достаточно памяти для того, чтобы могла быть поставлена проблема ее воплощения. Чувство непрерывности находит свое убежище в местах памяти. Многочисленные места памяти (*lieux de mémoire*) существуют потому, что больше нет памяти социальных групп.

17

Вспомним о невосполнимой потере, заключавшейся в исчезновении крестьянства, являвшегося по преимуществу коллективной памятью, популярность которого в качестве предмета истории совпала с апогеем индустриального подъема. Но даже этот факт, несмотря на его центральное значение для крушения нашей памяти,— лишь один из возможных примеров. Весь мир закружился в этом танце, вовлеченный в него хорошо известными феноменами глобализации, демократизации, социального нивелирования, медиатизации. На периферии независимость новых наций вторглась в историческое время обществ, уже разбуженных от своего антологического сна колониальным насилием. И этот же самый порыв вызвал внутреннюю деколонизацию, деколонизацию всех малых народов, групп, семей, всех тех, кто обладал сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории; конец обществ-памятей, как и всех тех, кто осуществлял и гарантировал сохранение и передачу ценностей, конец церкви или школы, семьи или государства; конец идеологий-памятей, как и всего того, что осуществляло и гарантировало беспрепятственный переход от прошлого к будущему или отмечало в прошлом все то, что было необходимо взять из него для изготовления будущего, будь то реакция, прогресс или даже революция. Более того — сам способ исторического восприятия, благодаря средствам массовой информации, постепенно распался, подменив память, ограничивавшую свое наследие самым сокровенным, эфемерной фотографией актуальности.

Ускорение. То, перед чем нас грубо ставит этот свершившийся факт,— это дистанция, лежащая между истинной памятью — социальной и нетронутой, а именно, памятью так называемых примитивных, или архаических, обществ, которые служат ее моделью и владеют ее секретом, и историей, в которую превращают прошлое наши общества, обреченные на забвение потому, что они вовлечены в круговорот изменений.

Дистанция между памя-

18

тью целостной, диктаторской и неосознающей самое себя, спонтанной, все организующей и всемогущей, памятью без прошлого, которая вечно возвращает наследие, превращая прошлое предков в неразличимое время героев, в начало мира и мифа,— и нашей, которая есть только история, след и выбор. Дистанция, которая постоянно растет с тех самых пор, как люди познали право, власть и само стремление изменяться, и только увеличивается с начала Нового времени. Дистанция, достигшая сегодня своего крайнего, судорожного, предела.

Такое искоренение памяти под захватническим натиском истории имело следующие результаты: обрыв очень древней связи идентичности, конец того, что мы переживали как очевидное — тождество истории и памяти. В том, что во французском языке есть только одно слово для обозначения и пережитой истории, и интеллектуальной операции, делающей историю познаваемой (немцы это различают как *Geschichte* и *Historie*), несовершенство языка, столь часто отмечаемое, обнаруживает свою глубинную истинность: течение, влекущее нас, имеет ту же природу, что и то, которое нам его представляет. Если бы мы сами продолжали населять нашу память, нам было бы незачем посвящать ей особые места. Они бы не существовали, потому что не было бы памяти, унесенной историей. Каждый жест, вплоть до повседневной жизни, был бы переживаем как религиозное повторение того, что существовало всегда, при полной идентичности действия и смысла. Как только появляется след, дистанция, медиация — мы более не в истинной памяти, но в истории. Вспомним евреев, замкнутых в повседневной верности ритуалу традиции. Их превращение в «народ памяти» исключало озабоченность историей до тех пор, пока их открытие миру Нового времени не вызвало у них необходимости в историках.

19

Память, история. Мы отдаем себе отчет в том, что всё противопоставляет друг другу эти понятия, далекие от того, чтобы быть синонимами. Память — это жизнь, носителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. История — это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память — это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же — это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям. История как интеллектуальная и светская операция вызывает к

анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей, эволюции и отношений вещей. Память — это абсолют, а история знает только относительное.

20

В сердце-истории работает деструктивный критицизм, направленный против спонтанной памяти. Память всегда подозрительна для истории, истинная миссия которой состоит в том, чтобы разрушить и вытеснить ее. История есть делигитимизация пережитого прошлого. На горизонте историзированных обществ и в мире, достигшем предела историзации, произошла бы полная и окончательная десакрализация. Движение истории, амбиции историков не являются воскрешением того, что действительно произошло, но полным его уничтожением. Безусловно всеобщий критицизм сохранил бы музеи, медали, памятники, т. е. необходимый арсенал своей собственной работы, но ценой лишения их того, что в наших глазах сделало их местами памяти. В конце концов общество, живущее под знаком истории, как и традиционное общество, оказалось бы не в состоянии обнаружить места, ставшие обителью его памяти.

Пожалуй, одним из наиболее ощутимых знаков этого отрыва истории от памяти является начало истории истории, совсем недавнее пробуждение во Франции историографического сознания. История, а точнее история национального развития, составила одну из самых сильных наших коллективных традиций, нашу среду памяти *par excellence*. От средневековых хронистов до современных историков «глобальной» истории вся историческая традиция развивалась как заданное упражнение для памяти и как ее спонтанное углубление, восстановление прошлого без лакун и трещин. Ни один из великих историков со времен Фруассара никогда не считал, что он представляет только какую-то определенную память. Коммин не осознавал, что он отображает лишь династическую память, Ла Поплиньер — только французскую, Боссюэ — лишь память монархическую и христианскую, Вольтер — память прогресса человеческого рода, Мишле — только память «народа» и Лависс — лишь память нации. Совсем наоборот, все они были уверены в том, что их задача состоит в утверждении памяти более позитивной, чем предшествующие, более всеобъемлющей и больше объясняющей. Научный арсенал, который история приобрела за последний век, мог только значительно укрепить критические основания истинной памяти. Все великие попытки пересмотра истории стремились расширить пространство коллективной памяти.

21

В такой стране, как Франция, история истории не может быть невинной операцией. Она осуществляет внутреннее превращение истории-памяти в историю-критику. Всякая история является критической по своей природе, и все историки всегда претендовали на то, чтобы разоблачить ложные мифологии своих предшественников. Но нечто фундаментально иное возникает в тот момент, когда история начинает создавать свою собственную историю. Рождение историографической озабоченности — это стремление истории вытравить из себя все то, что не является историей, представив себя жертвою памяти, предпринимающей усилия для своего освобождения. В стране, где истории никогда не отводилась направляющая и формирующая роль по отношению к национальному сознанию, история истории не могла бы оказаться столь нагруженной полемическим содержанием. Например, в Соединенных Штатах, стране множественной памяти и разноголосых традиций, история как дисциплина практиковалась всегда. Различные интерпретации Независимости или гражданской войны, сколь бы они ни были значимы, никогда не ставили под вопрос единую американскую традицию, либо из-за ее в некотором смысле отсутствия, либо из-за того, что главным способом ее передачи не является история. Напротив, во Франции историография всегда «иконокластна» и непочтительна. Она состоит в том, чтобы завладеть теми вещами, которые и составляют традицию по преимуществу: главной битвой, такой, как Бувин, каноническим учебником, таким, как малый Лависс, чтобы вскрыть их механизм и воссоздать как можно точнее условия их изготовления. Это значит — заронить сомнение в самое сердце, ввести клинок критики между стволем

22

памяти и корой истории. Занятия историографией Французской революции, воссоздание ее мифов и ее интерпретации означают только, что мы больше не идентифицируем себя полностью с ее наследием. Изучать традицию, какой бы славной она ни была, значит быть более не в силах однозначно распознать ее носителей. Иными словами, не только самые священные объекты нашей национальной традиции становятся предметом истории истории. Исследуя свои материальные и концептуальные ресурсы, процедуры своего собственного производства, социальные каналы своего распространения и механизмы своего собственного превращения в традицию, вся история целиком вступает в свой историографический возраст, достигнув своей деидентификации с памятью. Память сама превратилась в предмет возможной истории.

Было время, когда могло показаться, что с помощью истории и вокруг идеи нации традиция памяти кристаллизовалась в идее политического синтеза Третьей Республики, если следовать самой общей хронологии, от «Записок об истории Франции» Огюстена Тьерри (1827) до «Искренней истории французской нации» Шарля Сеньобоса (1933). История, память, нация претерпели тогда нечто большее, чем просто естественное взаимопроникновение: дополнительное распространение, симбиоз всех уровней, научного и педагогического, теоретического и практического. Национальное определение настоящего тогда категорически требовало своего оправдания ясностью прошлого. Настоящее, хрупкое из-за травмы, нанесенной Революцией, потребовавшей глобальной переоценки монархического прошлого, стало еще более ломким в результате поражения 1870 г., которое сделало чрезвычайно актуальным развитие архивной эрудиции и школьной передачи памяти перед лицом истинного победителя при Садовой — немецкого школьного учителя и немецкой науки. Бесподобен тон национальной

23

ответственности историка, наполовину священника, наполовину солдата, звучащий, например, в редакционной статье первого номера «Исторического журнала» (1876), в которой Габриель Моно мог с чувством глубокой убежденности заявить что «научное исследование, всегда медлительное, коллективное и методичное», работает «скрыто и уверенно на благо как Родины, так и всего рода человеческого». При чтении и этого текста, и сотни других подобных встает вопрос о том, как смогла утвердиться идея, что позитивистская история не является кумулятивной. Напротив, с точки зрения складывания нации, политическое и военное, биографическое и дипломатическое являются столпами преемственности. Поражение при Азинкуре или кинжал Равайяка, День одураченных или какой-нибудь дополнительный параграф Вестфальского договора подлежат скрупулезному бухгалтерскому учету. Точнейшая эрудиция приумножает или уменьшает капитал нации. Мощно единство этого мемориального пространства: между нашей греко-римской колыбелью и колониальной империей Третьей Республики точно так же нет разрыва, как между высокой эрудицией, обогащающей наследие новыми завоеваниями, и школьным учебником, превращающим их в вульгату. История священна, поскольку священна нация. Это посредством нации наша память отстаивает свою священность.

Понять, почему эта взаимосвязь вырвалась из-под нового натиска десакрализации, означает показать, как в кризисе 1930-х гг. пара государство-нация постепенно стала замещаться парой государство-общество. И как в то же время и по тем же причинам история из традиции памяти, какой она сложилась во Франции, удивительным образом превращается в знание общества о себе самом. В этом качестве она безусловно способна усиливать лучи прожекторов, направленные на отдельные памяти, и даже превратиться в лабораторию ментальностей прошлого. Но освобождаясь от национальной идентичности,

24

она одновременно лишилась субъекта-носителя и утратила свое педагогическое призвание, заключавшееся в передаче ценностей. Это отчетливо видно на примере сегодняшнего кризиса школы. Нация не является больше той объединяющей рамкой, которая ограничивает сознание определенной общности людей. С тех пор, как определение нации перестало быть вопросом, мир, процветание и ограничение ее могущества довершили дело. Ей больше ничто не угрожает, кроме отсутствия опасностей. С тех пор, как общество заняло место нации, легитимизация через прошлое и, следовательно, через историю уступила место легитимизации через будущее. Прошлое можно лишь знать и почитать, нации можно служить, будущее нужно готовить. Три термина обрели свою самостоятельность. Нация — это больше не борьба, а данность, история превратилась в одну из социальных наук, а память — это феномен исключительно индивидуальный. Нация-память оказалась последним воплощением истории-памяти.

Изучение мест памяти (*lieux de mémoire*) находится на пересечении двух течений, которые придают ему — сегодня и во Франции — его роль и его смысл. С одной стороны, это движение чисто историографическое, момент рефлектирующего возвращения истории к себе самой, с другой — это движение собственно историческое, конец определенной традиции памяти. Это время мест, это тот момент, когда огромный капитал наследия, который мы переживаем в интимности памяти, исчезает, чтобы ожить снова только под взглядом восстановленной истории. Решительное углубление работы истории, с одной стороны, и начало консолидации наследия — с другой. Внутренняя динамика

критического принципа — опустошение нашего исторического, политического и ментального кадра, еще достаточно властного, чтобы мы не стали к нему безразличными, но уже достаточно неопределенного, чтобы

25

заявлять о себе лишь благодаря возвращению к наиболее ярким его символам. Оба течения сливаются воедино, чтобы сразу же вернуть нас к базовым инструментам исторической работы и к наиболее символическим объектам нашей памяти: архивы вместе с трикулером, библиотеки, словари и музеи наряду с коммеморациями, Пантеон и Триумфальная арка, словарь Ларусса и стена Коммунаров.

Места памяти — это останки. Крайняя форма, в которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нем. Деритуализация нашего мира заставила появиться это понятие. Это то, что скрывает, облачает, устанавливает, создает, декретирует, поддерживает с помощью искусства и воли сообщество, глубоко вовлеченное в процесс трансформации и обновления, сообщество, которое по природе своей ценит новое выше старого, молодое выше дряхлого, будущее выше прошлого. Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации — все эти ценности в себе — свидетели другой эпохи, иллюзии вечности. Отсюда — ностальгический аспект проявлений почтения, исполненных ледяной патетики. Это ритуалы общества без ритуалов, преходящие святыни десакрализирующего общества, верность партикулярному в обществе, которое отвергает партикуляризм, фактические различия в обществе, принципиально стирающем их, знаки признания и принадлежности к группе в обществе, которое стремится распознавать только равных и идентичных индивидов.

Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит — нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными. Вот почему охрана меньшинствами спасенной памяти в специальных, ревностно оберегаемых центрах способна лишь накалить добела истину всех мест

26

памяти. Без коммеморативной бдительности история быстро вымела бы их прочь. Это и есть главные бастионы мест памяти. Но если бы тем, кто их защищает, ничто не угрожало, то не было бы необходимости их строить. Если воспоминания, которые они заключают в себе, были бы действительно живы, в этих бастионах не было бы нужды. Если бы, напротив, история не захватила их, чтобы деформировать, трансформировать, размять и превратить в камень, они не стали бы местами для памяти. Именно такое движение туда и обратно составляет их суть: моменты истории, оторванные от течения истории, но вновь возвращенные ей. Уже не вполне жизнь, но еще и не вовсе смерть, как эти ракушки, оставшиеся лежать на берегу после отлива моря живой памяти.

Марсельеза или надгробные памятники тоже живут такой двусмысленной жизнью, пронизанные смешанным чувством причастности и оторванности. 14 июля в 1790 г. уже было, но оно еще не было местом памяти. В 1880 г. его превращение в национальный праздник сделало его местом официальной памяти, но тогда дух Республики еще являлся

его подлинным ресурсом. А сегодня? Сама утрата нашей живой национальной памяти заставляет нас наблюдать за ней взглядом, лишенным наивности или безразличия. Та память, которая мучит нас, но не является более нашей, между стремительной десакрализацией и временно восстановленной сакральностью. Внутренняя привязанность, все еще заставляющая нас чувствовать себя должниками по отношению к тому, что нас сделало, и историческая удаленность, вынуждающая нас бесстрастно осматривать наследство и составлять его инвентарь. Уцелевшие места памяти, в которых мы больше не живем, полуофициальные и полностью институционализированные, наполовину эмоциональные и чисто сентиментальные; места единодушия при отсутствии единства, больше не способные выразить ни активной убежденности, ни страстного участия, где,

27

однако, еще прощупывается биение чего-то, оставшегося от символической жизни. Сползание от мемориального к историческому, от мира, где были предки, в мир случайных отношений с тем, что нас сделало, переход от тотемической истории к истории критической — это и есть момент мест памяти. Больше никто не прославляет нацию, но все изучают способы ее чествования.

II. Память, захваченная историей

Таким образом то, что сегодня называется памятью, относится не к памяти, но уже к истории. Всё, что называют горением памяти, есть окончательное исчезновение ее в огне истории. Потребность в памяти есть потребность в истории.

Безусловно, невозможно обойтись без этого слова. Примем его, но с четким осознанием различия между истинной памятью, сегодня нашедшей свое убежище в жесте и в привычке, в ремеслах, передающих свои навыки молча, в умениях тела, в механической памяти и рефлекторных навыках, и памятью, превращенной в свою практически полную противоположность — в историю. Это — память добровольная и обдуманная, переживаемая как долг и лишенная спонтанности, психологическая, индивидуальная и субъективная, а не социальная, коллективная и всеобъемлющая. Что же произошло между первой — непосредственной, и второй — косвенной? Это можно понять в момент завершения современной метаморфозы.

Прежде всего, эта трансформированная память, в отличие от первой, является архивной. Она вся основывается на том, что есть самого отчетливого в следе, самого материального — в останках, самого конкретного — в записанном на пленку, самого зримого — в образе. Движение, начавшееся с появлением письменности, находит свое завершение в высокой точности фиксации и в магнитной записи. Чем меньше память переживается внутренне, тем более она

28

нуждается во внешней поддержке и в осязаемых точках опоры, в которых и только благодаря которым она существует. Отсюда типичная для наших дней одержимость архивами, влияющая одновременно как на полную консервацию настоящего, так и на

полное сохранение всего прошлого. Чувство быстрого и окончательного исчезновения памяти смешивается с беспокойством о точном значении настоящего и неуверенностью в будущем, чтобы придать зримое достоинство запоминающегося самым незначительным останкам, самым путаным свидетельствам. Разве не достаточно мы упрекали наших предшественников за уничтожение или утрату свидетельств, необходимых для познания, чтобы избежать такого же упрека от наших потомков? Воспоминание полностью превратилось в свою собственную тщательную реконструкцию. Записанная на пленку память предоставила архиву заботу помнить ее и умножать знаки там, где она сбросила, как змея, свою мертвую кожу. В прошлом коллекционеры, эрудиты, бенедиктинцы посвящали себя собиранию документов, превращаясь в маргиналов как для общества, которое обходилось без них, так и для истории, которая без них писалась. Затем история-память поместила эту сокровищницу в центр своей эрудитской работы, распространяя ее результаты по тысячам социальных каналов. Сегодня, когда историки подавлены культом документов, все общество проповедует религию сохранения и производства архивов. То, что мы называем памятью, — это на самом деле гигантская работа головокружительного упорядочивания материальных следов того, что мы не можем запомнить, и бесконечный список того, что нам, возможно, понадобится вспомнить. «Память бумаги», о которой говорил Лейбниц, стала автономным институтом музеев, библиотек, складов, центров документации, банков данных. По мнению специалистов, продолжение количественной революции через несколько десятилетий приведет к

29

умножению числа только общественных архивов в тысячу раз. Ни одна эпоха не стремилась в такой же степени, как наша, к производству архивов. Дело не только в количестве бумаг, которое спонтанно производит общество нового времени, не только в существовании технических способов реконструкции и сохранения, которыми оно располагает, но и в суеверном уважении, которое оно испытывает к следам прошлого. По мере исчезновения традиционной памяти мы ощущаем потребность хранить с религиозной ревностью останки, свидетельства, документы, образы, речи, видимые знаки того, что было, как если бы это все более и более всеобъемлющее досье могло стать доказательством неизвестно чего на неизвестно каком суде истории. Сакральное инвестирует себя в след, который является его отрицанием. Невозможно предсказать, что надо будет вспомнить. Отсюда — запрет разрушать, превращение всего в архивы, недифференцированное расширение мемориального поля, гипертрофированное раздувание функции памяти, связанное именно с чувством ее утраты, и соответственной усиление всех институтов памяти. Странную метаморфозу претерпели профессионалы, которых раньше обычно упрекали в мании сохранения, в том, что они являются прирожденными производителями архивов. Сегодня частные предприятия и государственные учреждения нанимают архивистов, требуя от них сохранения всего, тогда как профессионалы уже поняли, что главное в их ремесле состоит в искусстве подконтрольного разрушения.

За несколько лет материализация памяти тоже стала чрезмерно распространенной, децентрализованной, демократичной. В классическую эпоху было три источника пополнения архивов: знатный род, церковь и государство. Кто только сегодня не считает себя обязанным записать свои воспоминания, написать свои «мемуары», причем не только самые незначительные участники исторических событий, но и свидетели их деятельности, их супруги и их врачи? Чем менее экстраординарным является свидетельство тем более достойной

30

иллюстрацией средней ментальности оно кажется. Результатом ликвидации памяти является общее стремление все регистрировать. За одно поколение воображаемый музей архивов чрезвычайно пополнился. 1980 год — Год наследия — стал ярчайшим примером этого, расширив значение понятия до самых крайних пределов неопределенности. Десятью годами раньше Ларусс 1970-го года издания еще определяет понятие «наследие» как «имущество, которое досталось от отца или матери». Малый Робер 1979-го года издания уже трактует его как «собственность, передаваемую по наследству, культурное наследие страны». От очень ограниченной концепции исторических памятников вместе с конвенцией об исторических местах 1972 г. совершается резкий переход к понятию, от которого теоретически ничто не должно ускользнуть.

Следует не только все охранять, но и все сохранять из указующих знаков памяти, даже если точно неизвестно, признаками какой памяти они являются. Создание архива стало императивом эпохи. Тому имеется устрашающий пример с архивами службы социального обеспечения — это беспрецедентное собрание документов, сегодня представляющее собой 300 погонных километров чистой массы памяти, разбор которой с помощью компьютера мог бы позволить, в идеале, прочесть об обществе все, что в нем есть нормального и патологического, от режимов питания до образов жизни, в зависимости от районов проживания и профессий. Хотя, конечно, как сохранение, так и возможное использование этой массы потребовало бы драматического и зачастую невозможного выбора. Архивы, архивы, от них всегда что-нибудь да останется! И если привести другой пример, говорящий сам за себя, не к тому же ли привело недавнее абсолютно законное увлечение исследованиями в жанре устной истории? Только во Франции сейчас существует более трех сотен архивов, занятых сбором «этих голосов, которые приходят к нам из про-

31

шлого» (Филлипп Жутар). Очень хорошо. Но если только представить себе на одну секунду, что здесь речь идет об архиве совершенно особого рода, создание которого потребует 36 часов для обработки 1 часа записи и использование которого не может быть пунктуально точным хотя бы потому, что такие документы приобретают смысл лишь при интегральном прослушивании, нельзя не задаться вопросом о возможности их использования. Чье стремление помнить несут в себе в конечном счете эти свидетельства — опрошенных или спрашивающих? Архив изменяет свой смысл и статус просто в силу своего объема. Он перестал быть более или менее умышленно оставленным реликтом пережитой памяти, но стал осознанным и организованным выделением утраченной памяти. Он удваивает пережитое, которое само часто создается в процессе собственной фиксации (из чего иначе сделаны новости?) как вторичная память, память-протез. Бесконечное производство архива — это обостренное свойство нового сознания, наиболее отчетливое выражение терроризма историзированной памяти.

Память эта входит в нас извне, и мы интериоризируем ее как индивидуальное принуждение, поскольку она больше не является социальной практикой.

Переход от памяти к истории заставил каждую социальную группу дать новое определение своей идентичности через оживление ее собственной истории. Жажда помнить превращает каждого в историка самого себя. Императив истории также вышел

далеко за пределы круга профессиональных историков. Не только обычные маргиналы официальной истории оказались захвачены потребностью восстановить свое исчезнувшее прошлое. Все организованные сообщества, интеллектуальные и нет, ученые и нет, а не только этносы и социальные меньшинства, обнаруживают необходимость заняться поисками основ своей собственной организации, разысканием своих истоков.

32

Нет семьи, в которой какой-нибудь из ее членов не был бы с недавних пор увлечен стремлением как можно полнее реконструировать скрытые обстоятельства происхождения его семьи. Рост генеалогических изысканий — это феномен недавний и массовый: годовой отчет Национального архива приводит цифру — 43 % обращений такого рода от общего числа посещений против 38 % посещений архива универсантами. Поразительный факт: не профессиональные историки являются авторами наиболее значительных исследований по истории биологии, физики, медицины или музыки, а биологи, физики, медики или музыканты. Деятели образования сами взяли в свои руки историю образования, начиная от физического образования и кончая философией. В эпоху потрясений устоев знаний каждая дисциплина стремится проверить свои основания с помощью их ретроспективного просмотра. Социология направляется на поиски своих отцов-основателей, этнология пытается исследовать свое прошлое, начиная от хронистов XVI в. и кончая колониальными администраторами. Вплоть до литературной критики все работают над тем, чтобы восстановить генезис своих категорий и своей традиции. Глубоко позитивистская, точнее — шартистская история, в то самое время, когда историки отвергли ее, получает благодаря этой крайней и неотложной потребности столь глубокое распространение и проникновение, каких она не знала никогда прежде. Конец истории-памяти умножил число отдельных памятей, которые потребовали своей истории.

Дан приказ вспомнить себя, но это мне надлежит вспомнить себя, и это я тот, кто меня вспоминает. Историческая метаморфоза памяти оплачивается определенной трансформацией индивидуальной психологии. Оба явления настолько тесно взаимосвязаны между собой, что трудно не заметить их полного хронологического совпадения. Не в конце ли прошлого века, когда начали особенно сильно ощущаться толчки, разрушительные для

33

традиционного равновесия, и прежде всего, распад деревенского мира, память выходит в центр философских размышлений благодаря Бергсону, в центр психологии личности благодаря Фрейдю, в центр литературной автобиографии благодаря Прусту? Взлом того, что было для нас образом самой памяти, воплощенном в земле, и внезапное начало памяти в сердце индивидуальных идентичностей являются как бы двумя сторонами одного перелома, началом процесса, вызвавшего сегодняшний взрыв. Разве не к Фрейдю и Прусту восходят два интимных и вместе с тем универсальных места памяти, каковыми являются первобытная трапеца и знаменитая «петит Мадлен»? Решительное смещение того, что передает память: вместо исторического — психологическое, вместо социального — индивидуальное, вместо всеобщего — субъективное, вместо повторения — ремеморация. Оно возвещает новый режим памяти в качестве абсолютно частного дела. Интегральная психологизация современной памяти ввела совершенно новую экономию идентичности моего Я, механизмов памяти и отношений с прошлым.

В связи с этим можно сказать с определенностью, что над индивидом и только над ним постоянно и безраздельно довлеет принуждение памяти, как если бы ее возможное возрождение зависело от личного отношения к своему прошлому. Отчуждение частной памяти из общей памяти придает закону воспоминания интенсивность внутреннего принуждения. Оно возлагает на каждого обязанность помнить себя и превращает обнаружение принадлежности в принцип и секрет идентичности. Эта принадлежность, в свою очередь, полностью завладевает им. Когда память больше не находится повсюду, она исчезает как бы в никуда, как если бы ее не решилось поддержать, приняв это решение в одиночестве, индивидуальное сознание. Чем меньше память переживается коллективно, тем больше она нуждается в специальных людях, которые сами превращают себя в людей-память. Это как внут-

34

ренный голос, который говорит корсиканцу: «Ты должен быть корсиканцем!» и «Нужно быть бретонцем!» бретонцу, Чтобы понять силу этого зова, пожалуй, нужно обратиться к еврейской памяти, которая так активизируется сегодня среди стольких евреев, не исповедующих иудаизм. Еврейским в этой традиции, у которой не было другой истории, кроме своей собственной памяти, является необходимость помнить о бытии, но это неотступное воспоминание, однажды интериоризированное, востребует вас полностью. Память о чем? В известном смысле, память о памяти. Психологизация памяти всех и каждого создала чувство, что от уплаты невозможного долга в конечном счете зависит спасение.

Память-архив, память-долг; необходим третий признак, чтобы закончить эту картину метаморфоз: память-дистанция.

Потому что наше отношение к прошлому, по крайней мере такое, которое раскрывается в наиболее важных исторических произведениях, совершенно другое, чем ожидается от памяти. Уже не ретроспективная протяженность, но освещение прерывности. Раньше истинное восприятие прошлого историей-памятью состояло в констатации того, что на самом деле прошлое не прошло. Его могло оживить усилие ремеморации, а само настоящее становилось своего рода повторенным, актуализированным, призванным прошлым, присутствующим благодаря такому сращению и такой укорененности. Безусловно, для возникновения чувства прошлого должна была возникнуть трещина между настоящим и прошлым, чтобы появилось «до» и «после». Но это в гораздо меньшей степени означало разграничение, переживаемое как радикальное отличие, чем интервал, переживаемый как установление преемственности. Две великих модели интеллигентности истории — прогресс и декаданс — во всяком случае с начала Нового времени точно

35

выражают этот культ непрерывности, достоверность знания о том, кому и чему мы обязаны тем, чем мы являемся. Отсюда — важность идеи происхождения, этой профанированной версии мифологического повествования, которая позволила сохранить обществу, идущему дорогой национальной секуляризации, смысл и потребность в сакральном. Чем более великим было происхождение, тем больше оно возвеличивало нас. Ибо мы восхваляем себя, восхваляя прошлое. Это соотношение распалось. Таким же

образом, как будущее, зримое, предсказуемое, управляемое, имеющее определенные границы, проекция настоящего, превратилось в невидимое, непредсказуемое, неподвластное, мы симметрично перешли от идеи видимого прошлого к идее невидимого прошлого, от прошлого устойчивого к прошлому, которое мы переживаем как разрыв, от истории, искавшей себя в непрерывности памяти, к памяти, спроецировавшей себя на прерывность истории. Больше говорят не об «истоках», а о «рождении». Прошлое дано нам как радикально иное, оно — это тот мир, от которого мы отрезаны навсегда. И в выявлении всей протяженности, которая нас отделяет от прошлого, наша память обретает свою истинность, но именно эта операция ее тут же подавляет.

Поэтому не нужно считать, что чувство прерывности удовлетворяется размытостью и текучестью ночи. Парадоксальным образом дистанция побуждает к сближению, которое ее устраняет и сообщает ей свою вибрацию. Никогда желание почувствовать тяжесть земли на сапогах, руку дьявола в тысячном году и зловоние городов XVIII в. не было столь сильно. Но искусственно вызванная галлюцинация о прошлом, безусловно, невозможна вне режима прерывности. Вся динамика наших отношений с прошлым заключена в тонкой игре недостижимого и уничтоженного. В самом первом смысле слова речь идет о репрезентации, радикально отличной от того, что искала древняя идея воскрешения. На самом деле воскрешение, каким бы

36

всеобъемлющим ни было это понятие, предполагало иерархию искусного воспоминания, точно распределяющего тень и свет, чтобы упорядочить перспективу прошлого под взглядом телеологически помысленного настоящего. Утрата единого экспликативного принципа низвергла нас во взорвавшуюся вселенную и одновременно возвела всякий объект, каким бы низменным, невозможным и недоступным он ни был, в ранг исторической мистерии. В прошлом мы знали, чьи мы были сыновья. Сегодня мы знаем, что мы дети ничьи и всего мира. Ничего не ведая о том, из чего будет сконструировано прошлое, неуверенное беспокойство превращает все в след, в возможный признак, в намек истории, которой мы заражаем невинность вещей. Наше восприятие прошлого — это страстное овладение тем, что не принадлежит нам больше. Оно требует точного приспособления для достижения утраченной цели. Репрезентация исключает фреску, фрагмент, целостную картину: она действует через точное освещение, через увеличение числа избранных деталей. Память является интенсивно ретинной и сильнейшим образом телевизиальной. Как не увидеть связь между, например, знаменитым «возвращением повествования» (проявляющимся в самых современных способах писать историю) и всеильностью образа и кино в современной культуре? Повествование, на самом деле совершенно отличное от традиционного повествования с его замкнутостью на себе самом и с его прерывистым ритмом. Как не связать скрупулезное отношение к архивному документу, когда подносишь к глазам листы подлинного документа, или обостренную чувствительность к устному слову, когда цитируешь действующих в них героев, заставляя слышать их голоса, — с аутентичностью непосредственного, к которой мы, впрочем, были приучены? Как не увидеть в этом вкусе к повседневности прошлого единственный для нас способ восстановить медлительность дней и запахи вещей? И в этих биографиях анонимов как не увидеть

37

способ дать нам понять, что массы состоят не из масс? Как не прочесть в этих посланиях прошлого, данных нам микроисторическими исследованиями, стремление приравнять историю, которую мы восстанавливаем, к истории, которую мы переживаем сами? Это

можно было бы назвать памятью-зеркалом, если бы зеркала отражали не наш собственный образ, а нечто другое, потому что то, что мы стремимся обнаружить,— это отличие, а в облике этого отличия — внезапный отблеск неуловимой идентичности. Это уже не происхождение, а дешифровка того, что мы есть, в свете того, чем мы не являемся больше.

Такова алхимия сущности, которая, странным образом, внесла свой вклад в превращение занятий историей, решительный прорыв которой к будущему должен был бы раскрепостить нас, в хранилище секретов настоящего. Впрочем, история повинна в этом меньше, чем историк, трудами которого завершается травмирующая операция. Странна его судьба. В прошлом его роль была проста, и он точно знал свое место в обществе: быть гласом прошлого и тем, кто может тайно посещать будущее. В этом качестве его личность значила меньше, чем его роль: от него не требовалось большего, чем быть эрудированной прозрачностью, орудием передачи, тире — по возможности незаметным — между грубой материальностью документов и следом, запечатленным в памяти. В конечном итоге это — отсутствие, одержимое объективностью. Из взрыва истории-памяти возникает новый персонаж, готовый признать, в отличие от своих предшественников, тесную, интимную и личную связь между ним и его предметом изучения. Даже более того: готовый открыто провозгласить эту связь, углубить ее, превратить ее из препятствия в рычаг своего познания. Потому что сам этот предмет всем в себе обязан субъективности историка, является его творением и его созданием. Именно он и есть инструмент метаболизма, дающий жизнь и смысл тому, что без него само по себе не имело бы ни смысла, ни жизни.

38

Вообразим общество, полностью захваченное чувством своей историчности: оно оказалось бы не способно порождать историков. Живя целиком под знаком будущего, это общество довольствовалось бы процессом автоматической регистрации самого себя и удовлетворялось бы счетными машинами, оставляя задачу понять себя неопределенному будущему. Напротив, наше общество, определенно вырванное из собственной памяти размахом своих изменений, но тем более одержимое идеей понять себя исторически, обречено превращать историка во все более и более центральный персонаж. Потому что в нем воплощается то, от чего наше общество хотело бы, но не может избавиться: историк — это тот, кто мешает истории быть только историей.

И таким же образом, каким благодаря панорамной дистанции мы получаем крупный план, каким ценой определенной странности получаем искусственную сверхправдивость прошлого, изменение способа восприятия маниакально возвращает историка к традиционным сюжетам, от которых он давно отвернулся, к орудиям нашей национальной памяти. Возвращение к порогу родного дома, старому заброшенному и неузнаваемому жилищу. С той же знакомой старинной мебелью, но при другом освещении. В ту же мастерскую, но для другой работы. В ту же пьесу, но в другой роли. Историография, неизбежно вступившая в свою эпистемологическую пору, с определенностью завершает эру идентичности. Память неотвратимо схвачена историей. Больше нет человека-памяти, но в самой его личности — место памяти.

39

III. Места памяти, другая история

Места памяти принадлежат двум царствам, что придает им и интерес, и сложность одновременно: простые и Двусмысленные, естественные и искусственные, немедленно открывающиеся самому непосредственному чувственному опыту и в то же время пригодные для самого абстрактного анализа.

На самом деле они являются местами в трех смыслах слова— материальном, символическом и функциональном,— но в очень разной степени. Даже место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное хранилище, не является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой. Даже чисто функциональное место, такое как школьный учебник, завещание или ассоциация ветеранов, становится членом этой категории только на основании того, что оно является объектом ритуала. Минута молчания, кажущаяся крайним примером символического значения, есть как бы материальное разделение временного единства, и она же периодически служит концентрированным призывом воспоминания. Три аспекта всегда сосуществуют. Можно ли назвать местом памяти столь абстрактное понятие, как поколение? Оно материально по своему демографическому содержанию, функционально в соответствии с нашей гипотезой, поскольку оно осуществляет одновременно кристаллизацию воспоминания и его передачу. Но оно и символично по определению, поскольку, благодаря событию или опыту, пережитому небольшим числом лиц, оно характеризует большинство, которое в нем не участвовало.

Игра памяти и истории формирует места памяти, взаимодействие этих двух факторов приводит к их определению друг через друга. Прежде всего необходимо желание помнить. Если отказаться от этого приоритета как принципа, можно быстро перейти от узкого определения, самого богатого по своему потенциалу, к определению возможному, но рыхлому, однако способному включить в категорию все объекты, достойные воспоминания. Это немного напоминает правила старой доброй исторической критики, которая мудро различала «прямые источники», т. е. те, которые общество сознательно

оставило для своего воспроизведения — например, закон, произведение искусства, и неопределенную массу «косвенных источников», т. е. все свидетельства, которые оставила эпоха задумываясь об их будущем использовании историками. Если отсутствует эта интенция памяти, то места памяти являются местами истории.

Напротив, очевидно, что если бы история, время, изменения не принимали в этом участия, следовало бы ограничиться простым историческим исследованием мемориалов. Итак, места, но места смешанные, гибриды и мутанты, интимно связанные с жизнью и смертью, со временем и вечностью, в спирали коллективного и индивидуального, прозаического и сакрального, неизменного и подвижного. По ленте Мебиуса они вращаются вокруг самих себя. Потому что если правда, что фундаментальное право мест памяти на существование состоит в остановке времени, в блокировании работы забвения, в фиксации настоящего порядка вещей, в обесмерчивании смерти, в материализации нематериального (золото есть единственная память денег) для того, чтобы заключить максимум смысла в минимум знаков, тогда очевидно, что именно делает их крайне

привлекательным понятием — тот факт, что места памяти не существуют вне их метаморфоз, вне бесконечного нагромождения и непредсказуемого переплетения их значений.

Возьмем два примера. Вот возможное место памяти — революционный календарь, поскольку в качестве календаря он должен был создать априорные кадры всей возможной памяти, а в качестве революционного календаря по своей рубрикации и по своей символике он, по смелому выражению его главного организатора, предполагал «открыть новую книгу истории», чтобы, по словам одного из его авторов, «вернуть французам самих себя». Ради этого -- остановить историю в час Революции, закрепив на будущее в воображении революционной эпохи месяцы, дни, века и годы. Их названия достаточно красноречивы. Тем не менее то, что, на наш взгляд, превращает

41

революционный календарь в место памяти — это как раз его неспособность стать тем, чем его хотели видеть его создатели. Если бы мы жили сегодня по его ритмам и он бы стал для нас столь же привычен, как грегорианский календарь, он утратил бы свою специфику в качестве места памяти. Он бы стал основанием нашего мемориального пейзажа и мог бы служить только для упорядочения всех других возможных мест памяти. Но вот что спасает его от полной неудачи: благодаря ему возникают ключевые даты, события, навсегда связанные с ним Вандемьер, Термидор, Брюмер. Так мотивы мест памяти кружатся вокруг самих себя, множась в кривых зеркалах, являющихся их истиной. Никакому месту памяти не избежать этих непреложных арабесок.

Возьмем теперь знаменитый случай: «Путешествие по Франции двух детей». Это место памяти опять же бесспорное, поскольку оно, так же как и «Малый Лависс», сформировало память миллионов юных французов в те времена, когда министр народного образования мог заявить, взглянув в 8.05 на свои карманные часы: «Сейчас все наши дети переходят через Альпы». Это место памяти также потому, что это перечень того необходимого, что следует знать о Франции, идентификационное повествование и путешествие-инициация. Но вот когда все усложняется: внимательное чтение вскоре показывает, что во время своего выхода в свет в 1877 г. «Путешествие...» создает клише о той Франции, которой уже больше нет, что начиная с 16 мая того года, ставшего свидетелем укрепления республики, оно черпает свою привлекательность в утонченном очаровании прошлого. Книга для детей, которая, как это часто случается, отразила память взрослых, чем отчасти и был вызван ее успех. Такова верхняя точка памяти, а нижняя? Накануне войны, 35 лет спустя после его опубликования, это произведение, все еще сохранявшее свою власть, безусловно, уже читалось как воспоминание, как ностальгическая

42

традиция. Вот доказательство: несмотря на его переработку и переиздание, старое издание, кажется, раскупалось лучше, чем новое. Затем книга появлялась все реже, и кроме как в маргинальных группах и окраинных провинциях, ее больше не используют, ее забывают. «Путешествие...» постепенно становится редкостью, сокровищем чердака или документом для историков. Книга покидает коллективную память, чтобы войти в память историческую, а затем и в память педагогическую. В 1977 г., в год ее столетия, когда «Конь гордыни» выходит тиражом в миллион экземпляров и когда Франция Жискара Д'Эстена, индустриальная, но уже затронутая экономическим кризисом, начинает

открывать свою устную память и свои крестьянские корни,— вот когда «Путешествие...» снова переиздается и снова включается в коллективную память, но уже в другую, чтобы пережить новые забвения и новые реинкарнации. Что послужило свидетельством известности мест памяти — их изначальная интенция или бесконечное возвращение циклов памяти? Очевидно, и то и другое: все места памяти — это отдельные предметы, отсылающие к памяти как к целому.

Таков принцип двойной принадлежности, который при неисчислимой множественности мест позволяет существовать их иерархии, их ограниченному полю, репертуару их гамм.

Если пристально взглянуть в большие категории объектов, которые принадлежат к виду «места памяти»,— во все то, что относится к культу мертвых, что принадлежало наследию, что управляет присутствием прошлого в настоящем, — то станет ясно, что некоторые из них, не вошедшие в него из-за узкого определения, могут претендовать на то, чтобы быть включенными в него, и что, напротив, многие, и даже большинство из тех, которые могли бы быть включены в него в принципе, должны на самом деле быть исключены.

43

То, что превращает некоторые доисторические, географические или археологические памятники в места памяти, иногда даже в самые значительные из них, является именно тем, что должно было бы помешать им стать таковыми,— полное отсутствие желания помнить, компенсируемое чудовищным бременем, наложенным на них временем, наукой, мечтой и памятью людей. Напротив, никакой другой участок границы не имеет того же статуса, что Рейн, или, например, Финистер, этот «предел земли», которому знаменитые страницы Мишле сообщили благородство. Все конституции, все дипломатические договоры — это места памяти, но Конституция 1793 г. обладает другим статусом, чем основополагающее место памяти,— Конституция 1791 г., с ее Декларацией прав человека. И Нимвегенский мир не обладает тем же статусом, что расположенные на двух противоположных концах истории Европы Верденский договор и Ялтинская конференция.

В их смешении память диктует, а история записывает. Вот почему два домена достойны того, чтобы остановиться на них особо: исторические события и книги по истории. Не будучи смесью памяти и истории, но являясь инструментами памяти в истории, они позволяют четко определить пределы исследования. Разве всякий великий исторический труд и всякий исторический жанр не являются по определению местами памяти? Всякое великое событие и само понятие события — не являются ли и они по определению местами памяти? Оба вопроса требуют точного ответа.

Только те книги по истории являются местами памяти, основу которых составляет переработка памяти, или те, что представляют собой педагогические брeвиарии. Великие моменты фиксации новой исторической памяти во Франции не так уж многочисленны. В XIII в. — это «Великие французские хроники», сконденсировавшие династическую память и создавшие модель историографической работы на многие века. В XVI в., в эпоху Религиозных

войн, это так называемая школа «совершенной истории» (*histoire parfaite*), которая разрушила легенду о троянском происхождении монархии и восстановила галльскую древность. «Изучение Франции» Этьена Паскье (1599) представляет собой, уже своим современным названием, эмблематическую иллюстрацию этого. Историография конца Реставрации создает современную концепцию истории: «Письма об истории Франции» Огюстена Тьерри (1820) являют собой первый толчок в этом направлении, и их полная публикация в 1827 г. практически с точностью до нескольких месяцев совпадает с появлением по-настоящему первой работы такого рода, принадлежащей перу выдающегося дебютанта Мишле, — «Новой истории в кратком изложении», и с началом чтения Гизо курса «История цивилизации Европы и Франции». Наконец, это национальная позитивистская история, манифест которой — «Исторический журнал» (1876), а памятник — «История Франции» Лависса в 27 томах. То же относится и к мемуарам, которые, хотя бы только в силу своего имени, могли стать местами памяти. Это же относится и к автобиографиям, и к частным дневникам. «Записки с того света», «Жизнь Анри Брюлара» или «Дневник Амьели» являются местами памяти не потому, что они самые лучшие и значительные, но потому, что они усложняют простое упражнение памяти игрой вопрошания самой памяти. Это касается и мемуаров государственных людей. От Люли и до де Голля, от «Завещания» Ришелье и до «Записки со Святой Елены» и «Дневника» Пуанкаре, независимо от неравнозначной ценности этих текстов, жанр сохраняет свои постоянные законы и свою специфику: он подразумевает знание других мемуаров, раздвоение человека на человека пера и человека действия, идентификацию индивидуального дискурса с дискурсом коллективным и включение личных интересов в круг интересов государства: таковы мотивы, принуждающие рассматривать в панораме национальной памяти как места памяти.

45

А «великие события»? Из них только два типа входят в места памяти, что никак не зависит от их величия. С одной стороны, события иногда безвестные, едва замеченные в тот момент, когда они происходили, но которым будущее ретроспективно пожаловало величие истоков, торжественность разрывов, открывающих новые эпохи. И с другой стороны, события, в ходе которых до известной степени ничего не происходит, но которые мгновенно обретают глубоко символический смысл и становятся в самый миг их развития своей собственной досрочной коммеморацией. История современности благодаря средствам массовой информации каждый день множит такие мертворожденные попытки. С одной стороны, например, избрание Гуго Капета королем — случай без блеска, но десять веков продолжения рода, прервавшегося на эшафоте, придают этому событию вес, которого оно не имело изначально. С другой стороны — Ретондский вагон, Монтуарское рукопожатие или борьба за Елисейские поля во время Освобождения. Событие-основание или событие-спектакль. Но ни в коем случае не событие само по себе: допустить такое толкование понятия мест памяти означало бы отрицать всякую его специфику. Напротив, исключение такого толкования ограничивает понятие: память «вцепляется» в места, как история — в события.

Ничто, напротив, не мешает вообразить внутри поля всевозможные градации и всевозможные очевидные классификации. Начиная с мест самых естественных, данных в конкретном опыте, таких как кладбища, музеи и годовщины, до мест, наиболее изоциально интеллектуально сконструированных, которые тоже ничто не может помешать использовать: не только уже упоминавшееся «поколение», линияж, «район-память», но

также «разделы» («partages»), на которых основано все восприятие французского пространства, или картины-пейзажи («paysage comme reitnure»), мгновенно понятные, если вспомнить Коро или «Сент-Виктуар» Сезанна. Если сделать акцент

46

на материальном аспекте мест памяти, они расположатся сами собой в соответствии с широкой градацией. Вот, например переносные места памяти, но отнюдь не самые незначительные. Народ-память преподносит главный пример этого в виде «Законов таблиц». Вот топографические места полностью зависящие от их точной локализации и от их укорененности в почву. Но это также и все туристические места, и Национальная библиотека, столь же связанная с дворцом Мазарини, как Национальный архив — с дворцом Субизов. Вот места монументальные, которые не спутаешь с местами архитектурными. Первые, статуи или надгробные памятники, получают свое значение от их внутренней сущности. Даже несмотря на то, что их локализация далеко не безразлична, любая другая локализация могла бы найти себе оправдание, не оспаривая их значения, что не применимо к ансамблям, построенным временем, черпающим свою неповторимость в сложных соотношениях своих элементов. Таковы зеркала мира или эпохи — Шартрский собор или Версальский дворец.

Не обратиться ли теперь к функциональному домену мест памяти? Тогда раскроется веер мест, начиная от посвященных исключительно поддержанию непередаваемого опыта и исчезающих вместе с теми, кто его пережил, таких как ассоциации ветеранов, и кончая теми тоже преходящими местами, право на существование которых обусловлено педагогическими нуждами, такими как учебники, словари, хрестоматии или «поучительные книги», которые в классическую эпоху главы семейств писали в назидание своим потомкам. Обратит ли больше внимания на символическую составляющую? В этом случае можно противопоставить, например, места доминирующие и места доминируемые. Первые, поразительные и триумфальные, значительные и обычно подавляющие, будь то в силу национального или административного авторитета, но всегда стоящие на возвышении, обычно обдают холодом и торжественностью официальных цере-

47

моний. Туда приходят против воли. Вторые — это места-убежища, святилища спонтанной преданности и безмолвных паломничеств. Это живое сердце памяти. С одной стороны, Сакре-Кер, с другой — популярное паломничество в Лурд; с одной стороны — национальные похороны Поля Валери, с другой — захоронение Жан-Поль Сартра; с одной стороны — траурная церемония в Нотр-Дам в связи со смертью де Голля, с другой — кладбище Коломбо.

Можно до бесконечности оттачивать классификации: противопоставлять места публичные и частные, места памяти в чистом виде, полностью исчерпываемые их коммеморативной функцией, — такие, как надгробные речи, Дуомон или Стена коммунаров, и те, чье измерение памяти — лишь одно из многих в фасциях их символических значений — национальный флаг, праздник, паломничество и т. д. Интерес этого наброска типологии состоит не в его точности или всеохватности и даже не в богатстве вызываемых им ассоциаций, но в том факте, что такая типология возможна. Она показывает, что невидимая нить связывает объекты, не очевидно взаимосвязанные между собой, и что объединение под общей рубрикой кладбища Пер-Лашез и «Общей

статистики Франции» — это не сюрреалистическая встреча зонтика с утюгом; что существует выраженная сеть этих разных идентичностей, бессознательная организация коллективной памяти, которой мы позволяем осознать самое себя.-Места памяти — это наш момент национальной истории.

Простая, но определяющая черта ставит места памяти абсолютно вне всех тех типов историописания, старых и новых, к которым мы привыкли. Все исторические и научные подходы к памяти, будь их предметом память нации или социальных ментальностей, имели дело с *realia*, с самими вещами, предельно живую реальность которых они стремились познать. В отличие от всех исторических объектов, места памяти не имеют референции в реальности.

48

Или, скорее, они сами являются своей собственной референцией, знаками, которые не отсылают ни к чему, кроме самих себя, знаками в чистом виде. Это не значит, что у них нет содержания, физического существования и истории, совсем напротив. Но местами памяти их делает как раз то, благодаря чему они ускользают от истории. *Templum*: разрыв в неопределенности профанного — пространства или времени, пространства и времени, — круга, внутри которого все имеет смысл, все означает, все символизирует. С этой точки зрения, место памяти — это двойное место. Избыточное место, закрытое в себе самом, замкнутое в своей идентичности и собранное своим именем, но постоянно открытое расширению своих значений.

Это и создает их историю — и самую банальную, и менее ординарную, от очевидных сюжетов с самым классическим материалом, от лежащих под руками источников и самых неизощренных методов исследования. Можно подумать, что это возвращение к позавчерашнему дню исторической науки, но эта история исходит из совсем другого источника. Ее предметы постижимы только в их непосредственной эмпиричности, но суть не в этом, она не может выразить себя в категориях традиционной истории. Историческая критика целиком обернулась критической историей, а не только инструментом ее работы, возрождающейся из самой себя, чтобы жить во второй степени (*au second degré*). Это история абсолютно трансферная (которая, как война, есть искусство исполнения), сотканная из хрупкой удачи отношений между восстановленным в памяти предметом и целостной увлеченностью историка своим сюжетом. История, опирающаяся в коиечном счете только на то, что она способна мобилизована редкую, неосязаемую, едва выразимую связь, живущую в нас благодаря неискоренимой, плотской привязанности к ее порой уже увядшим символам. Оживление истории в стиле Мишле, заставляющей думать

49

о пробуждении скорби любви, о чем так хорошо говорил Пруст,—это момент, когда спадают, наконец, оковы одержимости страстью, когда истинно печальным становится прекращение страдания от того, от чего страдал так долго, момент, понятный лишь благодаря доводам рассудка, но не безрассудности сердца.

Ссылка весьма литературная. Следует ли сожалеть об этом или, напротив, полностью ее оправдать? Оправдание ее опять же диктуется нашей эпохой. Память на

самом деле всегда знала только две формы легитимизации: историческую и литературную. Они практикуются параллельно, но до сих пор по отдельности. Сегодня граница стерлась, и из почти одновременной смерти истории-памяти и памяти-фикции родился новый тип истории, легитимность и престиж которого базируется на новом отношении к прошлому и на другом прошлом. История — это то, как мы воображаем замену. Возрождение исторического романа, популярность персонифицированного документа, воскрешение исторической драмы, успех повествования устной истории — чем объяснить все это, если не перерождением слабеющей художественной прозы? (Интерес к местам памяти, в которых укрепился, сконденсировался и самовыразился исчерпанный капитал нашей коллективной памяти, восходит к этому чувству. История, глубина эпохи, оторванной от своих глубин, подлинный роман эпохи без подлинного романа. Память, передвинутая в центр истории, — это неопровержимая скорбь литературы.